

13 ФЕВ 1980

2207

МОСКОВСКИЙ КОММУНИСТ

г. МОСКВА

ПЕЧАТАЕТСЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Л. АННИНСКИЙ

# ПРАЗДНЕСТВО И МУКА

(ИЗ КНИГИ О МИХАИЛЕ ЛУКОНИНЕ)

Луконин — из того же материала. Хотя склонен не к космической систематике и мировому охвату, а к непосредственной правде переживаемых состояний. И последующие обширные его поэмы — тоже ведь не возведение модели мироздания, а упрямое перемалывание впечатлений. Не эпический портрет и не идейный чертеж своего поколения должен дать Луконин, а психологический срез его, — но это то же самое мироощущение: безостаточное единство, вобранность индивида в общественное и мировое целое. Это ощущение планетарного всечеловеческого единства, о котором все они говорят «космическими» словами: земшарец, планета, мир, Коган выражает на языке идеологических символов: «Земшарная республика Советов». Луконин тоже носит в себе «земшарный» образ целого, и в свой час он тоже дает ему свое толкование, но чисто пластическое: в стихах об окруженце, который выходит к своим по школьной карте полушарий: «несет из окруженья шар земной...».

Как и все они, Коган знает свою близкую судьбу. Он пишет о «смертных реляциях», в которые внесено его поколение, и как у всех у них, — это не ощущение смерти как конца. Это уникальное, удивительное ощущение смерти как счастья, как исполнения долга и предназначения, смерти как разрешения героической задачи.

Луконин выражает это же чувство, но прямодушнее. И он пишет о возможной смерти, в сущности не думая о ней как о конце, с одинаковым спокойствием говоря: «вот и я умру когда-нибудь» или: «вот почему я не умру». Эту-то необъяснимую радость жизни, не желающей знать конца, и заметил умудренный опытом Андрей Платонов и горько усмехнулся про себя. Все поколение было таким. Они ждали войну...

Павел Коган успел немного. Чертеж души. Тонкий оттиск. Станный контур. Прямой, твердый, хрупкий, угловатый стих, в котором еще вибрирует мечта мальчишеская. Стеклопрозрачность души. Готовность вынести свинцовую тяжесть и — слабость детских, «худеньких рук». Сам стих Когана, вызывающе прямой и ломкий, — как ожидание. Его еще пошатывает. Вдруг оступает стих из чеканной кристальной ритмичности в какую-то полупрозу (как в «Письме»: «Вот мы и дожили, вот мы и получаем весточки в изжеванных конвертах с треугольными штемпелями, где сквозь запах армейской кожи, сквозь бестолочь слышно самое то, то самое — как гудок за полями...»). Ритм угадывается — слов еще нет... опыт еще не достиг. Интонация всплывает неожиданно — в ней нет поэтической программы.

Не Когану суждено найти новую интонацию и осуществить ее как принцип. Суждено — Луконину. Но он еще не знает этого.

В его близком окружении есть поэт, который уже нащупал, нашел, угадал свою дорогу — ту форму, в которую должен уложиться нависший над людьми опыт, и к этому опыту уже успел сам прикоснуться на Халхин-Голе. Константин Симонов. Логикой вещей они должны сойтись — дипломник Литинститута, автор нескольких блестящих поэтических сборников, и приехавший с Волги дебютант.

Формула сближения та же. Волейбольная площадка. Симонов подает мяч. Промах. Луконин смеется. Симонов со злостью оборачивается: «Нечего зубы скалить! Попробуй сам податы!». Луконин подает — виртуозно. После игры Симонов подходит: «В спорте, видать, силен. А как в поэзии?».

Знаменательнейшая встреча. Десятилетия спустя, оглядываясь на всю военную и послевоенную лирику и даже на поэзию молодых романтиков пятидесятых годов с их изумительной раскованностью и обаятельной непринужденностью, прослеживая пути слова, развернувшиеся так широко и многообразно, в истоках его критики будут отмечать две исходные образные концепции. Два зачина. Как сказала в разговоре со мной ленинградская поэтесса Майя Борисова (оставляя в стороне Твардовского, торившего путь на совсем другом конце поэзии) — лирики фронтового поколения шли «либо за Симоновым, либо за Лукониным», вопрос в том, какая из ветвей что давала поэзии на протяжении двух или трех последующих десятилетий.

Так что надо получше взглянуть в эту сцену: на краю волейбольной площадки первокурсник читает стихи дипломнику. Оба твердо знают, какой не должна быть поэзия, оба ругают гладкопись и патентованную поэтичность, оба чувствуют: стихам нужна «проза». Две кардинальные образные концепции подступающей военной эпохи примеряются друг к другу.

Впоследствии Симонов признал влияние Луконина на свои стихи. Признал и другое: что пошел по другому пути, чем Луконин. «Я обманул его ожидания». Вариант Симонова был — простая, четкая, скупая на внешние эмоции, строгая и ясная повествовательность. Луконин вынашивал иное...

Среди поэтов, находившихся в те месяцы в сфере его восприятия, был один, попавший почти в точный резонанс с предчувствуемой им стиховой интонацией, — Леонид Лавров.

Вслушайтесь:

Я задышался. Я больше не мог, Радость  
Раздула мне легкие, застряла в глотке,  
Разделила мне нервы от лада до лада  
На большие басы и дискантные нотки...

Последние две строчки далековаты от Луконина: он звуков не утончал и музыкально стих не гармонизировал. Но две первые поразительно предсказывают луко-  
нинское — помните? — в стихах 1954 года:

Я проснулся от радости,  
глаза раскрываю,  
ногами отпихиваю одеяло,  
встаю, как пружина...  
Или более ранние — 1945-го:  
«Я просыпаюсь — четыре стены», —  
вот начало.  
Четыре стены! — вот начало тревоги...  
И еще ближе — 1940-го:  
Я жалею девушку Полю.  
Жалею...

Мог Луконин знать те стихи Леонида Лаврова? Лавров их написал в 1928 году... Помнить полтора десятилетия для такого точного попадания? — сомнительно.

Впрочем, вот Лавров 1932 года:

Листопада по лужам прошлогодний экстракт;  
Муравьиные конусы, кипящие пивом,  
По припекам крапивы, крапивы эдак и так,  
С ожогом и без, и напоследок — просто крапивы...

Опять что-то есть... Последняя строка — «чистый Луконин»: не просто ритм шатается, вместе с ним само движение мысли вышатывается из ровной логики, отступает как бы вспять, в сторону... Мог Луконин знать эти строки? Мог. Лавров был из «конструктивистского молодняка» 20-х годов и с Сельвинским имел связь достаточно прочную. И новые, в 1939 году написанные стихи, может быть, приходил читать Сельвинскому. Может быть, и на семинаре читал. Может быть, и в присутствии Луконина:

Август. Мой любимый и мной оставленный август.  
Последний мыс лета, огибаемый солнцем.  
Лиловые глыбы туч, загромождающие горизонты,  
Они лежат телами чудовищных ископаемых...

(Начало см. в №№ 31—33, 35, 36).